

# Миллион алых роз

рассказ



**Валериан МАРКАРОВ**

*г. Тбилиси, Грузия*

Нико бездумно брёл вперёд, сквозь изнурительную весеннюю жару, когда улицы Тифлиса, зажатого к котловине между горами, дымились от накала палящего зноя. Ноги легко снесли его по чешуйчатой мостовой Верийского спуска, аккуратно перевели через мост над Курой и по Михайловской улице довели напрямик до самого Муштаида, этого «Булонского леса» грузинской столицы.

Здесь пахло жареными каштанами, в богатых ресторанах страстно пели и кутили богачи — эти дети веселья и достатка, шегольски разодетые в серебро и цветные сукна, беспечно рассыпали по сторонам свои накопления. Солидное и сдержанное вела себя интеллигенция — врачи, инженеры, учителя, адвокаты, которые приходили сюда отдохнуть и подышать прохладой за тихой благоразумной беседой. В заведениях попроще собрался торговый и ремесленный люд Тифлиса: карачохели, торговцы и мелкие купцы, ставшие недавно набирать коммерческий оборот. Мужчин непременно сопровождали черноволосые и черноглазые красавицы с румяными щеками и сверкающими белизной зубами. Кто-то из них — чья-то жена, кто-то — дочь на выданье, а кто-то — и любовница. И вся эта толпа — в ресторанах и духанах рядом с фонтанами или под свежей сенью елей, акаций, чинар и тутовых деревьев — острит и хохочет, танцует и азартно играет в лото, поёт, болтает и бранится, гуляет по аллеям сада, шумит и блестит улыбками, ботинками, платьями, мундирами.

Неугомонная детвора шумно носится по аллеям сада, лишь изредка останавливаясь, чтобы поглазеть на представление Петрушки или понаблюдать за ловкими китайскими фокусниками, послушать старых шарманщиков, чьи барабаны изготовлялись одесскими мастерами, по причине чего здесь были популярны мелодии «7.40», «Шарлатан» и другие еврейские напевы. Любопытным девочкам постарше предсказывают судьбу разноцветные попугаи, за определённую плату вытаскивающие своими кривыми клювами плотно уло-

женные и написанные корявым почерком судьбоносные билетки.

Нико заглянул в духан. Здесь, в глубине, за длинным столом, освещённом лампами, сидели люди. Шёл большой пир на полупире. Ароматные бычьи лопатки, хорошо сваренные, лежали в облаках пара на больших блюдах рядом с шашлыками на шампурах, пестрели гранаты, наливные яблоки, гроздь прозрачного винограда, жирная индюшка и поросёнок, покрытый яичным желтком и обжаренный, с зеленью петрушки и ярко-красными редиска-ми в раскрытом рту, и тарелки с тёмно-зелёным варёным шпинатом, направленным лучшим хмели-сунели. Мужчины сидели как в пиджаках, кто в блузах, а кто в чохах — чёрных, каштановых, с серебряными и чёрными поясами и кинжалами. Все говорили спокойно, наслаждаясь тем, что ночь ещё длинна, и тем, что это уже не первая, и далеко не последняя, ночь великого пира.

Вскоре подошёл буфетчик-микитан, обмотанный фартуком до самого пола, с подносом в руках. На нём стояли стеклянный графин с холодной водкой и рюмка. Нико залпом выпил полную стопку, и блаженное тепло немедленно разлилось по всему его телу. Затем он выпил вторую и третью и, опустошив графинчик, взял дрожащей рукой пустую рюмку, стал в задумчивости рассматривать её матовое донышко...

Оставив духан, он в отрешении углубился в сад и наткнулся на кафе-шантан, на его открытой эстраде по вечерам давали музыкальные спектакли и иллюзионные номера. Здесь выступали весёлые конферансье-куплетисты и акробатки-«каучук», балетные пары исполняли «па-де-де» и «па-де-труа», им на смену выбегали стройные артистки кордебалета, а ближе к ночи неискушённой кавказской публике демонстрировали непристойные пляски задорного и беззаботного канкана.

Дыхание новых перемен, идущих с Запада, как и дыхание необычайно жаркой весны, явственно витало во всей атмосфере этого увеселительного заведения, с появлением которого неведомая сила начинала выгонять мирных жителей Тифлиса, привыкших проводить тихие весенние вечера за игрой в нарды и лото,

в эти кафе-шантаны, заставляла из любопытства слушать пикантные шансонетки на непонятном языке, учила не стыдиться коротких, выше колен, юбок, выразительно-двусмысленных движений танцовщиц французского варьете в купальных костюмах, высоко задравших длинные ноги и посылавших зрителям воздушные поцелуи, и толкала скромных и совершенно невинных девушек, дочерей местных обывателей, на работу модистками в ателье, на сцену, в театр, натурщицами к свободным художникам либо на новый промысел на новом тротуаре.

Нико бы прошёл мимо эстрады и толпы зевак, созерцавших анонс выступления какой-то заезжей артистки, которое вот-вот должно было начаться, если бы не уткнулся носом в широкую тумбу с наклеенной на ней афишей, краешек которой был потреплен ветром:

*«Новость!*

*Съ 27-го Марта 1905 года*

*Г А С Т Р О Л И*

*Впервые в Тифлисе Парижский Театръ*

*Миниатюръ «Бель Вю»*

*и знаменитая артистка ещё небывалаго*

*въ Россіи жанра*

*La Belle Margaritta De Sevre.*

*Уникальный даръ пять шансоны*

*и одновременно танцевать кейк-уокъ!*

*Концертъ-дивертисментъ въ трёх отделенияхъ.*

*От 8 час. вечера до 2 час. ночи.*

*Билеты покупайте в кассахъ».*

Спустя мгновение взгляд его задержался на диковинке, что появилась на сцене из-за кулис, после того как конферансье объявил выход мадемуазель Маргариты. Изящная певичка с лёгким слоем наложенного на белое лицо театрального грима, что придавало ей выразительности, с большими глазами, обведёнными чёрной краской, пухлыми, розовыми от пудры щеками, с копной вьющихся волос, стояла в полосатых чулках, не скрывавших её крепких ног, на которых красовались изящные туфельки с заостренным мыском на небольшом каблучке в форме рюмки. На ней была пышная юбка на очень тонкой, похоже, перетянутой

талии, а в руках она держала веер и кланялась публике своим ротиком тёмно-моркового цвета, чем невольно заставила Нико обратить на себя внимание. Она дивно запела на непонятном ему языке своим глубоким и чувственным голосом, и все, заслышав её пение, отчего-то вздрогнули. Она же, танцуя, в такт музыке плавно покачивала бёдрами из стороны в сторону, размахивала руками над головой, а на припевах подсакивала и поднимала ноги выше своей головы таким образом, что Нико искренне испугался, как бы эта удивительная девушка не развалилась на части.

Рот его был приоткрыт от наивного удивления, а застывшие глаза устремлены к эстраде. Он не мог их оторвать от неживой и холодной улыбки мадемуазель Маргариты. В какой-то миг ему померещилось, что она бросила на него томный взгляд из-под густых ресниц, и от того его сердце учащённо забилося. Её странное, «двойное» пение, внимательно его слушающая, создавало впечатление, словно одновременно пели два человека: будто главный голос, что был громче другого, был золотой, а второй, очень тихий — серебряный. Этот необыкновенный вокал тронул его до глубины души, ещё немного — он готов был заплакать, хотя, когда он слушал песню, это бывало с ним редко. Ему представлялось, что певица рассказывает о человеке, которого хорошо знает, за которым не раз наблюдала, знает, как он смеётся, смущается, радуется...

— О чём эта песня, уважаемый? — шепнул он, не в силах сдержать свой интерес, на ухо человеку весьма почтенного возраста, с пышными усами и не менее пышными бровями, одетому в дорогой костюм по моде тифлисского городского купечества.

— Понятия не имею, генацвале. Либретто ведь у нас нет, а название на французском мне ни о чём не говорит...

Артистка завершила своё выступление — и зал охватил восторг. Одна из зрительниц, что стояла ближе всех к подмосткам, взвизгнула в ажиотации, а кое-кто из молодых офицеров, предчувствуя нешуточное веселье, стал свистеть.

На сцену полетели букетики цветов! Сердце Нико заколотилось от волнения, задрожало от

злости на самого себя: как же так, что у него нет цветов? Никаких! Даже полевых! Эх, Никала-Никала, глупый ты, и голова твоя соломенная! Не запомнил разве, что женщины любят цветы? Их в духаны не води, вареной осетриной и копчёным балыком не корми, а вот цветочек, хотя бы маленький, подари! Разбейся, найди этот чёртов гривенник и купи!

Публика в экстазе вздыхала и колыхалась. Слышались раскаты грома восторженных оваций!

— Шарман-шарман! — истошно вопила дама в цветочной шляпе и с пломбиром в руках.

— Гран-мерси, мадемуазель Маргарита! — вторили другие.

— Bravo! — кричали третьи, посылая артистке бурные аплодисменты и воздушные поцелуи снизу. — Прелестно! Очаровательно! Мерси боку!

А высокий мужчина солидного возраста в дорогом костюме, который во время выступления мадемуазель Маргариты стоял рядом с Нико и что-то говорил про какое-то, кажется, «либретто», вдруг бросил пыхтеть своей трубкой. Усиленно толкая других локтями и плечами и даже не оборачиваясь, чтобы извиниться, он смог в конечном счёте протиснуться к самому краешку сцены, встав на цыпочки, покровительственно кивнул артистке и что-то положил в боковой кармашек её платья...

Нико не отводил от неё глаз, зачарованно смотрел, изучал каждое движение той, что до невероятности поразила его воображение. Сейчас вот ему показалось, что артистка кокетливо подняла на плечо спадающую бретельку её легкого платья и... — странно! — она вновь бросила на него взгляд. А потом её отвлекли очередные возгласы публики: «Гран-мерси, мадемуазель Маргарита!»

Она скромно прошептала серебряным голосом что-то невнятное, вроде бы «жё ву зан при», и... — нет, ему не приснилось! — она действительно посмотрела на него! Но почему? Что в нём такого особенного? Ей смешно? Или, быть может... может... он приглянулся ей?

Нико не мог прийти в себя от изумления, от какого-то удивительного, странного чувства, поселившегося в нём. Что это с ним? Неужели

он, увидев прекрасную девушку, влюбился с первого взгляда? Влюбился без памяти, по-настоящему, до сущего безумия?

«Вот она, любовь всей моей жизни! — грезило его большое мечтательное сердце. — Прекрасный ангел, наконец-то спустившийся ко мне с неба!»

...Он не мог дождаться наступления нового дня, ворочался всю ночь напролёт с боку на бок. Кровь его, воспламенившись от любви, бурно текла по жилам, а из головы не выходил дивный чарующий голос певицы, невероятный по своей силе и красоте.

На рассвете к дверям его молочной лавки подошли серые, вечно грустные ослики из Табахмелы с хурджинами на своих спинах, таких пыльных, будто весь Тифлис вытирал о них свои туфли. Нико, не торгуясь, второпях заплатил деревенским мальчишкам за молоко, мацони, сметану и сыр и, не дождавшись прихода компаньона, принарядился как умел — снял фартук, взамен него нацепил на себя пиджак — и выскочил из лавки, прихватив с собой из вчерашней кассы целых пять рублей.

Вот и Муштаид. Здесь, у самого входа, расположились два чистильщика сапог. Сидят себе перед красными креслами и стучат щётками по ящикам. А над креслами у них — настоящие балдахины с фестонами, кистями и декоративной бахромой — господам хорошим нравится! Любят в Тифлисе картинность!

С раннего утра в саду уже гуляли люди, плавно кружилась карусель с гнедыми лошадами в сбруях, санями, белыми лебедями, радостно визжали детские голоса, а один старый грузин, в сером плаще и сванской шапке, следил за порядком на этой территории и одновременно нажимал кнопки, запускающие аттракционы. Недалеко какой-то шустрый и крикливый малый зазывал широкую публику в павильончик кривых зеркал.

Нико без труда нашёл кассу — маленькую будочку — и за полтинник купил входной билет на представление актрисы Маргариты. И так, сокровенный билет у него в кармане. И сейчас прожигает насквозь его кожу. Но он, Нико, вытерпит эту боль. Ведь осталось ждать не так и долго — всего до восьми часов вечера, когда начнётся большое представление!

Ему захотелось есть, но в духан он не пошёл — испугался за себя, что выпьет лишнего и предстанет пред Маргаритой не в лучшем виде. Весь день он находился в сильном волнении и вместе с тем в радостном возбуждении, ощущал странный трепет в груди. Когда же в желудке его заурчало грозно и неумолимо, Нико купил себе сначала жареных каштанов, потом — кукурузы и стакан сельтерской, тем и утолил голод и жажду.

Оставалось не более двух часов до начала концерта. Электрические лампы напрасно горели над ненужными уже афишами: билетная касса была закрыта. На её круглом зарешетчатом окне теперь висела табличка «Все билеты проданы». Зато расторопные мелкие спекулянты наживали себе состояние: только и успевали продавать вожаделенные билеты в три, а то и в пять раз дороже их стоимости, ведь желающих попасть на представление было больше, чем мест в зале.

И вот наконец двери роскошного ресторана широко распахнулись, и грузный билетёр в ливрее стал запускать зрителей внутрь, строго проверяя наличие у них билетов и отрывая от них корешки, дабы не были они использованы во второй раз. Здесь, в большом светлом зале с громадной электрической люстрой, паркетным полом, высоким потолком, стенами, обклеенными богатыми обоями, за столами, покрытыми белыми накрахмаленными скатертями, ужинали нарядные дамы и господа, по преимуществу — русское население, принадлежащее к военному сословию или к гражданской администрации. Грузинское же и армянское дворянство, зажиточное купечество и интеллигенция тоже усвоили костюм и образ жизни европейский. И старались если не перещеголять, то не отстать от русских в пышности своих туалетов. Здесь не было ни одной женщины в лечаки, наоборот — состоятельные дамы были облачены в пышные юбки. Широкие поля их шляпок, украшенные цветами и атласными лентами, венчали роскошные букеты из перьев или даже целые чучела маленьких птичек, хотя программка концерта «покорнейше просила» снимать головные уборы, чтобы не загораживать сцену зрителям, сидящим сзади. Руки дам закрывали узкие перчат-

ки, ноги — чулки, а элегантный аксессуар — зонтик — был заботливо поставлен рядом со стулом. Здесь было не найти ни одного мужчины в чохе или остроконечной бараньей шапке, сюда не пришёл ни один кинто! Сегодня мадемуазель Маргарита собрала воедино весь цвет европейского Тифлиса!

Публика пребывала в волнительном ожидании: время концерта приближалось. Актриса сидела одна перед зеркалом в маленькой комнате, служившей одновременно уборной и гримёрной. Всякий раз, собираясь накладывать грим, она вспоминала скандалы, которые устраивал Жан, её импресарио, требуя, чтобы макияж её был максимально заметным и броским:

— Мужчины падают на красоту, глупышка! По платью встречают! Ты же актриса! Ну же, дай им зрелищ, покажи чувства, страсть, индивидуальность! Развлеки их, даже если ты рыдаешь под маской грима. Обмани их и замани в свои сети! — он нервно прохаживался за её спиной, то держа руки сзади, то лихорадочно размахивая ими в воздухе. — Тебе уже скоро тридцать, ты мечтаешь стать богатой и знаменитой, той, которую на выходе поджидает толпа состоятельных поклонников и вездесущих репортёров! Слушай мои советы — и жизнь твоя станет лучше. И тогда я либо сделаю из тебя великую актрису, либо пойду по миру без гроша в кармане...

Тёмная прядь её волос упала на глаза, упрямое выражение которых была не в силах скрыть даже самая обаятельная улыбка. Не нужны были ей ссоры и скандалы Жана, она всячески старалась их избегать. Она жила как умела и слушала советы этого пройдохи только для того, чтобы кивнуть в знак согласия, но вовсе им не следовать. К тому же она помнила, что ещё бедная её Маман, посвящая её, тогда ещё маленькую девочку, в женские тайны, рассказывала, что броский макияж считается уделом представительниц одной старинной профессии: «Ты ведь не станешь куртизанкой, дочка? Одной из этих *«une demi-mondaine»*! Не для этого я тебя родила! Не для этого сама прошла этот тернистый путь! Ты приличная барышня, Марго. А приличные барышни отбеливают кожу уксусом или лимонным соком. Хочешь придать коже таинственное мерцание

— всегда найдёшь рисовую пудру и жемчужный порошок. Желаеть выглядеть аристократкой — бледность лица твоего оттенят тёмные густые брови, которые аккуратно подведёшь сурьмой...»

Маман её когда-то в юности подрабатывала модисткой, а потом в поисках лучшей жизни предпочла стать куртизанкой и жить за счёт средств состоятельных любовников. А дочерей — Марго и Франсуазу — воспитывала её старая мать, жившая в Париже. Когда девочки подросли, их отдали в школу Мадам Фрессард. Там они и стали принимать участие в спектаклях, там раскрылся их талант: музыкальный и актёрский. Следующим учебным заведением, в котором учились девочки, была частная привилегированная школа, а потом — драматический класс Высшей национальной консерватории драматического искусства, обучение в которой, конечно же, оплачивала Маман, грезившая видеть своих дочерей или хотя бы одну из них «второй» Сарой Бернар, «божественной Сарой!» В консерватории они научились создавать характеры с помощью жестов и голоса. Что же касается вокала — профессора были очарованы голосом Франсуазы, но не Маргариты! Лучшие парижские театры ставили пьесы Генрика Ибсена и Эдмона Ростана, и девочки мечтали играть в одном из них — на сцене «Комеди Франсэз». Марго удалось сыграть третьестепенную роль в «Женщине с моря», а Франсуаза дебютировала в спектакле «Ифигения». Но, увы, скоро стало понятно, что для всего нужна протекция! Маман уже не было среди живых, она оставила их, будучи ещё далеко не старой женщиной. Бывшие же её покровители не собирались помогать дочерям давно покинувшей их куртизанки Мадлен «лишь в память о ней». Обнажилась жестокая правда жизни: театральные критики внезапно стали суровы к ним, они не разглядели в начинающих актрисах будущих звёзд и считали, что их имена могут в лучшем случае украшать афишки, но никогда — серьёзные афиши! А когда и сам главный режиссёр объявил, что они лишены большого дарования, им пришлось покинуть театр, — театр, который с малых лет считали Храмом, но где все роли давно были разобраны среди фавориток маститых ре-

жиссёров, стоявших за кулисами театральных несправедливостей, лжи и интриг. Для сестер наступили непростые времена. Пришло ощущение, что никогда уже не зажётся для них свет на сцене. Никогда им не играть ведущих ролей в драматическом театре! И Франсуаза, смирившись, ушла танцевать и петь в кабаре «Мулен Руж» на бульваре Клиши. А Маргарита, после того как все взыскательные импресарио отказали ей в ангажементе, обосновывая своё решение тем, что её голос для профессиональной сцены довольно слаб, начала танцевать в кабаре «Чёрный кот» на Монмартре. Что поделаешь, им приходилось исполнять канкан, хоть он и считался крайне непристойным среди приличной публики, благо осуждать их мораль было уже некому...

А потом совершенно внезапно, спустя два года после смерти Матап, к ним пришла беда. Заболела Франсуаза, лихорадочно билась в ознобе, боролась со рвотой, жаждой и рвущей болью в спине. Они поначалу полагали, что она простудилась или «потянула голую спину» в бойком танце. Но потом на её замечательном лице и теле стала появляться страшная безобразная сыпь, конечности её била беспощадная судорога, а сознание было в бессвязном бреду.

— У вашей сестры серьёзное заболевание, мадемуазель, — озадаченно произнёс приглашённый Docteur. — Вы чудом не заразились! Это Variole, или чёрная оспа, крайне опасная вирусная инфекция. Если она и выживет, то может частично или полностью потерять зрение. А кожа её навсегда останется покрытой многочисленными рубцами. Точно от такой напасти и упокоился наш король Людовик XV...

...Внезапный стук в дверь уборной и женский голос «Можно?» мгновенно вернули её к действительности.

— Входи, Франсуаза. Я уже готова, — ответила Маргарита.

Вошла женщина, платье которой с длинными рукавами закрывало её тело вплоть до самого подбородка. Лицо её скрывал толстый слой белил и румян, плохо маскируя оспенные шрамы.

— Марго, Жан сказал, мы начинаем через

считанные минуты, — звонким и чистым голосом произнесла та. — Зал полон... Что это с тобой? Опять началось? — она с тревогой посмотрела на сестру.

— Кажется, да, Франсуаза. Опять этот чёртов страх перед сценой. В этом городе приступ повторяется каждый вечер. Не могу ничего с этим поделать... — в её голосе слышался трепет. Она силилась унять нервную дрожь в коленях.

— Успокойся, Марго, возьми себя в руки. Всё пройдет прекрасно!

— Я боюсь, как бы зрители не смекнули, что на афишах — обман. Что нет у меня никакого «уникального дара одновременно петь и танцевать кейк-уок»... Что и голоса-то у меня пригодного нет... Этот Жан, чёрт бы его побрал!.. Если бы он не грозил разрывом ангажемента, никогда бы не согласилась я на такую авантюру...

— Родная, мы делаем это не впервые. И репетировали много раз. Не собьёмся... Ты танцуй, как обычно. А я по причине большого зала буду петь за кулисами громче, чем всегда...

— Как же всё надоело, Франсуаза! Мотаемся по странам и провинциям, веселим публику, а утешительным призом для нас служат лишь низкие гонорары. Всё оседает в кармане у этого канальи Жана. Вместо сердца у него — книжка театральных билетов, вместо идеалов — красиво отпечатанная афиша...

В дверях уборной в этот момент показалась голова взволнованного импресарио, словно он услышал, что его имя склонялось на все лады. Его можно было бы назвать симпатичным: высокий светловолосый человек лет сорока, с чеканными чертами высокомерного лица и холодными голубыми глазами, если бы только не его рот с неестественно широкой улыбкой на накрашенных губах — он портил его, делая похожим на постаревшего клоуна. Поправляя на ходу свой шейный шнурок-галстук и очки в золочёной оправе, он произнёс с апломбом, всплеснув холёными марципановыми ладошками:

— Небывалый аншлаг, Марго! Ни одного свободного места сегодня. Так неожиданно! И приятно! Люди толпятся даже в проходах и между столиками. Ты должна... Слышишь, должна напоследок поразить искушённую пуб-

лику этого Тифлиса! Кстати, очень недурной городишко, скажу я тебе! Среди сидящих в зале много тех, кто не только в Петербург и Москву катается, но и в Париж, Вену, Лондон ездит по делам. Так что ты выжми из себя все соки... Ничего с тобой не станется — отплясала шесть концертов, остался сегодняшний — прощальная гастроль! — и домой, в Париж. Там отлежишься в своих апартаментах. Я ведь ещё не полностью расходы возместил за этот вояж, за дорогой отель, чёрт бы побрал его несговорчивого метрдотеля! за все твои капризные предпочтения в еде: багет, фуагра, бешамель, печенье безе и крем-брюле, шампань... затраты на аренду зала, на афиши. А ведь ещё и труппе надо гонорары выплатить... — Его губы в алой помаде искривились в ехидном раздражении. Он налил себе отменного коньяку в разогретую им в ладонях рюмку и, втянув носом аромат, залпом её осушил, следуя своей неизменной традиции — перед началом каждого концерта, спектакля, а также репетиции, которую он приравнивал к спектаклю, принимать это чудесное французское средство. — А ты, Франсуаза, не стой, как манекенщица на помосте! Лучше зятни на Марго корсет потуже!

Сестра дрожащими от смятения руками затягивала шнуровку на поясе сестры, то и дело путаясь в его длинных лентах. От боли Маргарита закусила губы, во рту внезапно пересохло, дыхание затруднилось. Но она совладала с собой. Послушно кивнула Жану, затем встала со стула, придиричиво осмотрела себя в зеркале, поправила перья и провела рукой по блёсткам.

Во Франции она блистала в жанре варьете и водевиля. Но в Тифлис труппа театра «Бель Вю» привезла небольшой репертуар: несколько скетчей, коротких комедийных пьес и шуточных реприз, танцы и несложные песенки, модные в парижских кафе-шантанах и поэтому всегда принимаемые на ура в «провинциях», к одной из которых французы и относили ещё мало знакомую им Грузию.

...Нико занял своё место за столиком. Отсюда было хорошо видно сцену и всю остальную публику, уже слегка выпившую и покрасневшую. Ему принесли бокал вина, от которого он отказался, попросив водки.

— Бокал вина вам положен за счёт заведения. А за водку платить придётся, уважаемый.

Он молча кивнул в знак согласия.

И вот на сцену вышел тапёр, похоже, француз, средних лет, в белоснежном костюме. Он, поклонившись respectable публике, ударил по клавишам рояля длинными тонкими пальцами, заиграв рэгтайм. В полумраке блеснули подведённые густым гримом глаза артистки. Она! Прелестная мадемуазель Маргарита! Сверкнули её белые зубы, такие ослепительные на фоне ярко накрашенных губ. И она начала петь удивительным «двойным» голосом и танцевать оригинальный, совершенно новый для тифлисских зрителей танец «cake-walk», он же «ки-ка-пу», этот гротескный танец американских негров, подскакивая и вытягивая руки вперёд параллельно полу, словно предлагая толпе попробовать пирог.

За ней стояла пара — очередная диковинка — два самых настоящих чёрных негра-франта, разодетых в пух и прах по последней моде, с белоснежными манишками, высокими воротничками, с пенсне и тросточками. Они, активно двигая бёдрами и тазом, громко топали ногами и подпрыгивали, смешили публику и дуррачились, выделявая различные «кренделя».

Представление не раз покрывалось оглушительными криками, дикими воплями пылкого восторга, гиканьем, аплодисментами, взлетающими кверху шляпами и летящими на сцену цветами. Что касается танцев самой актрисы Маргариты, то умение выделять ею различные па ласкало взгляд и возбуждало всеобщее ликование. Публика тряслась от неподдельных эмоций, неистово экзальтируя. Похоже, люди были готовы наслаждаться этим лицедейством с ночи до утра! Под конец актриса спела несколько лёгких мелодраматических песенок, и красивый её голос пробирался всё глубже и глубже в души зрителей, чем вызвал слёзы восторга у нежных барышень, тут же зашпешивших полезть в свои сумочки за платками, и сентиментальные вздохи дамочек повзрослее.

Нико не сводил глаз с Маргариты, любясь ею, восхищаясь её воздушными движениями в такт музыке, внимая каждому слову из её песни, но слышалось ему одно лишь кошачье мурлы-

канье, какое-то странное, легкомысленное «мур-мур-мур». Как бы хотелось ему знать, о чём же она поёт! Но песня эта была на французском, которого он, на беду, никогда и не знал и отчего сейчас так сильно страдал. Ведь ему совершенно необходимо было понять, о чём же она поёт! Что хочет сказать своим зрителям? А зал, похоже, понимал её очень даже неплохо и от этого веселился и ликовал! Нико с завистью оглянулся по сторонам. Эти аристократы и интеллигенты из европейского Тифлиса, что относят себя к великим знатокам обычаев просвещённого Запада, им-то до тонкости известны правила загадочной науки, именуемой «этикетом», а знание французского или даже немецкого они позаимствовали у своих гувернанток или закордонных поваров, научивших их на этих языках изъясняться, а коли надо, то и разговор поддержать недурно. И не нашлось в тот вечер никого поблизости, кто мог бы объяснить Нико, что в незатейливой и фривольной той песенке пелось, конечно же, про любовь. Разве поют французы про что-то иное со времён сотворения мира?

Нико схватил со стола астры, окрашенные во все цвета радуги умелым садовником, и, подойдя к сцене, протянул их «божественной» Маргарите. Та приняла их, как и другие букеты, не особенно выражая восторга. Лишь сдержанно произнесла, бросив на него сиюминутный взгляд: «Мерси, месье!» И он догадался, что «мерси» должно быть означает «спасибо». Второго слова он не разобрал.

Публика ещё семь раз вызывала её на бис. Она появлялась, опять танцевала, ей кричали:

— Шарман-шарман! Bravo! Гран-мерси, мадемуазель Маргарита! Прелестно! Очаровательно! Мерси боку!

Освещённая огнями ramпы, она грациозно кланялась, посылая в никуда улыбку и воздушные поцелуи. Казалось, представлению не будет конца. Но вдруг на сцене появился высокий представительный человек в пенсне, встал рядом с актрисой, поклонился зрителям, широко улыбнувшись при этом удивительно красными губами и одновременно подав за кулисы раздражённый жест, означающий, чтобы занавес больше не раздвигали, как бы там ни надрывалась публика со своими докучливыми «браво» и «бис!»...

Нико и заметить не успел, как Маргарита пропала из виду, исчезла в тени пыльного занавеса. Зрители, успокоившись, стали постепенно расходиться, благосклонно обсуждая выступление гастролирующей парижской труппы. За воротами их ожидали роскошные экипажи, фаэтоны и коляски.

Он тихо поднялся со своего места, с растерянным видом озираясь по сторонам. Ей не понравился его букет? Наверно, и правда не понравился, иначе она бы одарила его лучезарной улыбкой. А цветы других поклонников были пороскошнее, побогаче. Что же делать теперь? Нико подошёл к выходу, что-то напряжённо обдумывая. В каком-то недоумении, вперемежку с щекочущим нервы волнением, сделал он пару неуверенных шагов вперёд, но вдруг передумал и замер на месте, а потом робкой поступью вернулся к своему столику и заказал водки...

...Танцы совершенно выбили Маргариту из сил, а сильно затянутый на талии корсет не давал дышать.

В гримёрной Франсуаза помогла ей переодеться и расстегнуть шнуровку банджа. Когда актриса стирала искусный грим, её неприятно поразило истощённое, покрытое сетью мелких морщинок лицо, выглянувшее из зеркала. Только теперь она почувствовала смертельную измождённость, навалившуюся на неё всей своей тяжестью.

— Я умираю от усталости! — сообщила она сестре, а взгляд её был вялый, оцепеневший и смотрел в одну точку. — В зале было накурено и душно до дурноты! — она вновь повернула голову и бессильно взглянула на себя в зеркало. — Мне кажется, я сильно постарела за последнее время. И нервы мои окончательно истощены... К счастью, сегодня был прощальный концерт.

— C'est la vie, Марго. Ты приляг, — заботливо суежилась вокруг неё сестра, поправляя подушку на диване и помогая ей лечь повыше. — Я принесу мокрые полотенца и бутылочку коньяку. Отдохни немного, хоть четверть часа. Потом поедem в отель. Тебе надо поспать. А я начну собираться в дорогу. Жан заказал экипаж на завтрашний полдень.

— Merci beaucoup! Что бы я без тебя делала,

Франсуаза? И ещё... поищи пузырёк с нюхательной солью, s'il te plaut. Ума не приложу, куда он запропастился...

Нико всё ещё сидел за столиком в ресторане и с напряжённым вниманием наблюдал из окна за его центральным входом. Некоторое время спустя он заметил, как подъехал фаэтон и вот — она! Мадемуазель Маргарита! И рядом — другая женщина. Облачённые в лёгкие манто, они вышли из заведения и впорхнули в ожидавший их фаэтон. Кучер щёлкнул бичом.

«Я не могу её потерять! Надо узнать её адрес!» — повторял Нико самому себе. И бросился вдогонку, однако лошадь бежала так проворно, что он вскоре выбился из сил. Пока фаэтон петлял по улочкам, Нико ещё кое-как попевал за ним, но вот он покотился по набережной, и Нико стал задыхаться и отставать. По счастью, было темно, и он, ни жив ни мёртв, рискнул вскочить на запятки так, словно всю свою жизнь служил выездным лакеем. Чего только не учиняет любовь с человеком! Там, на запятках, он перевёл дух, радуясь собственной находчивости. Однако другое чувство, поселившееся в нём с недавнего времени, терзало его. И имя ему было — ревность! Оно убедило его не сомневаться, что фаэтон его «ангела» направляется сейчас в какое-нибудь укромное местечко, где её, прелестную актрису Маргариту, дожидается таинственный молодой кавалер, с жаром аплодировавший актрисе. Однако какое право имеет он, простой молочник, совать свой нос в ночную жизнь красавицы Маргариты? Но он полюбил её, полюбил всей душой и был полон решимости проникнуть в одну из её тайн и, если понадобится, защитить её от упрямых, докучливых и грязных помыслами обожателей.

Когда лошадь остановилась на Головинском проспекте, аккуратно напротив недавно возведённого Александро-Невского военного собора, у гостиницы «Ориант», Нико понял, что напрасно тревожил себя дурными мыслями. Ведь она, его «чистый ангел», здесь проживает. Незаметно соскочив на землю, Нико испытал минутное замешательство.

«Подойти? — спрашивал он самого себя, но тут же задавался другим вопросом: — Но как? Без цветов?» Нет, это не по-мужски! Так он никогда не поступит!

...Уже совсем стемнело от туч, и скрежещущий удар пронёсся по небесам. По иссохшей земле застучали дождевые капли, и наконец хлынул ливень. Он хлестал по кронам деревьев, по крышам домов, фаэтонов и колясок, по булыжным мостовым. Потоки воды с шумом неслись вдоль тротуаров. Сквозь сверкающую пелену дождя пробивались тусклые лучи одинокой и равнодушной луны. Загулявшие допоздна девушки, приподнимая пышные юбки, со смехом пробегали мимо. Но Нико не замечал дождя. Он, подталкиваемый неведомой силой, куда-то шёл быстрым шагом и вскоре оказался в Харпухи, где упрямо стучался в старую деревянную дверь хромого на одну ногу садовника Нукри. Он знал, что на его заднем дворе цветут пышные клумбы роскошных роз, которые тот потом продавал на Мейдане. Помнил, что Нукри, как и его отец, был не просто букетчиком, а прежде всего очень хорошим садовником, умел своей заботливой рукой прививать и выращивать фруктовые деревья и разводить новые цветы.

— Кто там? — услышал он голос, и в окне показалось заспанное лицо пожилого человека.

— Это Нико.

— Какой такой Нико — не знаю. Знаю, что ночь уже на дворе. Всем спать пора. Что тебе нужно?

— Цветы. Очень нужны. Сейчас.

— Цветы тоже спят, генацвале. Нельзя их тревожить. Приходи завтра, на рассвете.

Но, увидев, что Нико очень расстроен, садовник всё же сжалился. Встал, отворил ему дверь и, ступая шаркающими шагами, провёл гостя в тёмный притихший сад, умытый сильным дождём. Там, объяснившись в любви к выращенным им цветкам и выпросив у них прощения, аккуратно срезал их большими садовыми ножницами и отдал странному ночному покупателю. Несколько очаровательных роз, обильно покрытых дождевой росой, крупных и душистых — за полтора рубля.

Видел бы эту сделку Димитри — компаньон Нико! Да он бы насмерть убился, но никогда бы не отдал денег за цветы. Сказал бы ему: «Эй ты, градом побитый! На что такие деньги тра-тишь? На веник? Что? Это цветы? Какая раз-

ница, что цветы? Всё равно завтра в веник превратятся! Слушай, хочешь цветы — пойдёшь нарви где-нибудь! Э-э-э, кацо, что тебе ещё сказать? Настоящий ты чокнутый! За полтора рубля целого ягнёнка купить можно в базарный день! Пир закатить!»

А ему, Нико, не жалко никаких денег для ангела, сошедшего с небес! К тому же Нукри их заслужил: уважил его просьбу, встал с постели посреди ночи, а ведь он — ранняя пташка — рано ложится и рано встаёт! Поистине, великий он садовник, даже холщовый фартук на нём не преуменьшает его особого величия! Не бывает ведь роз без шипов, а вот он так умело их срезал своими золотыми руками, что смог избежать укулов. Точно как и хороший пчеловод, которого не жалят пчёлы, когда тот крадёт у них мёд.

С букетом в руках Нико торопился, почти бежал на Головинский, к гостинице «Ориант». Швейцар в ливрее преградил ему путь, не впустил к заезжей звезде, сославшись на слишком позднее время:

— Никого не велено пущать к госпоже артистке! Сударыня нынче почивать изволит.

И если бы Нико не всучил ему щедро на «чай», а потом ещё столько же и портье, ему, вероятно, так и пришлось бы ночевать сегодня либо на мокрой скамье Александровского сада, находящегося под боком, откуда его когда-то погнало строгий дворник, либо идти в свою лавку, чтобы провести бессонную ночь в смежной комнате, на излюбленном снопе сена. Но цветы!.. Цветы! Ведь они неизбежно завянут к утру! А если и поставить их в воду, то и в этом случае они будут уже не так свежи, грустно повесят свои головки.

Прилизанный портье провёл Нико — утомлённого и взволнованного, пахнувшего потом, в отяжелевшем от ливня костюме и грязных ботинках — к заветной двери.

«Как подойти к ней? Что сказать? — мучился Нико вопросами. — Как надо здороваться с такой знаменитостью?»

Французского языка он совсем не знал. Вот грузинский — да! Русский — тоже пожалуйста! Даже на армянском мог изъясниться. А вот на французском — ну никак, ни единого слова не знал. Непонятный язык ведь какой-то, странный, ни на что не похожий...

В итоге, собравшись с духом, Нико постучал в дверь.

Маргарита с сестрой недавно вернулись в свой номер. Актриса только успела переодеться в пушистый белый халат, окончательно стертеть макияж, как в дверь робко постучали.

Dějá-vu! Боже, как часто это случалось в её жизни!

Схватив пуховку, она начала судорожно пудрить лицо, словно пудра могла скрыть её страх от нетерпеливых глаз кавалеров и поклонников. Да-да, очередных бестактных поклонников, которые вот так, самым беспардонным образом, вторгаются в её покои, бесцеремонно будят её, Примадонну Парижского Театра, и несут потом несусветную чепуху, что мечтают, мол, пообщаться с ней лично, с глазу на глаз, и заполучить автограф на вечную память! Несмотря на обаяние и воспитание, будет она неприступна и холодна к этим назойливым воздыхателям, от которых слышала многое в своей жизни — банальные комплименты, маскирующие лесть, торжественные клятвы быть с ней «в радости и в горе», чувственные, однако пустые обещания, но лучшее, что она слышала, — это тишина. Потому что не было в ней вопиющей, гнусной лжи...

— Vous avez besoin de quelque chose, monsieur? — спросила Франсуаза, отворившая дверь незнакомцу.

Нико оцепенел от неожиданности. Удивительный голос этой женщины, одетой в плотное длинное платье от подбородка и до самых пят, показался ему до боли знакомым. Не тем ли самым «золотым» голосом он наслаждался на концерте Маргариты? Но лицо её, сплошь покрытое грубыми рубцами, не говорило ни о чём и отталкивало. Он не понял её вопроса и не знал, что надо ответить. И, потеряв дар речи, которым, впрочем, никогда и не обладал, только робко протянул цветы — роскошный букет красных роз.

Та, кивнув, произнесла:

— Merci beaucoup, monsieur! — и отчего-то стала рыться в бархатном ридикюле на тонком шнурке. — Un instant s'il vous plait!

Её сумочка, похожая на шар, вмещала всё, что было необходимо настоящей моднице или актрисе — обрамлённое серебром овальное

зеркальце с изящной ручкой, помаду, румяна и пудру, расчёску, флакон с нюхательной солью, игральные карты...

Но безумный взор Нико был устремлён в глубь комнаты, где у трельяжа, всего в нескольких шагах от двери, спиной к нему сидела она, актриса Маргарита, его Непорочная Дева, благородная и чистая! Его богиня красоты, хоть и земная от рождения!

Она, словно почувствовав на себе чьё-то касание, слегка повернула голову, и Нико поймал её растерянный взгляд. Он увидел светлые её очи, в которых блистали искорки, подбородок, высокие скулы и маленькие губы — всё это в обрамлении густых прядей её пышных волос, которые так и просили, чтобы их целовали. Нико смотрел на неё с неисчерпаемой нежностью, и его стало трясти от страха или от вожделения...

Она же с некоторым удивлением на лице рассматривала худого, промокшего до нитки мужчину. Кто он? Вид отнюдь не парадный, не респектабельный, а неухоженный и измождённый. На лице — старая щетина, под глазами мешки, руки тонкие, почти прозрачные... В поношенном костюме, на неуклюжих ботинках — свежая уличная грязь... Фу! Не выношу грязной обуви! А на голове — низко надвинутая на глаза и насквозь вымокшая какая-то старомодная фетровая шляпа. В Париже давно уже таких не носят. Ему, должно быть, лет сорок пять. Ну да, она так и знала. Очередной бесцеремонный поклонник... Чего ему дома не сидится в такую непогоду и поздний час? Хотя, возможно, она и ошибается. На поклонника ведь он не слишком похож. Больше всё-таки на нарочного. От какого-нибудь местного богача, наверное... как их здесь называют? князь? купец? С дорогими цветами и, наверное, с запиской — приглашением на обед или ужин — и пылкой надеждой на мимолётный адюльтер с французской шансонеткой...

Женщина, что стояла перед ним, у самого порога, вытащила наконец из недр своей сумочки двугривенный, протянула его Нико, снова бросив что-то непонятное, и, прежде чем он успел опомниться, закрыла перед ним дверь.

«Зачем она вручила мне эти двадцать копеек? — недоумевал Нико, раскрыв ладонь. — За

цветы заплатила, что ли? Или за посыльного приняла?» Он был растерян от того, что ожидал радушного приёма в будуаре знаменитости. А его и внутрь-то не впустили, чаю не предложили. Не по-грузински это, не по-человечески как-то. А потом его враз осенило: а может, они, эти французы, относятся к тем людям, которые встречают незнакомого человека по одежде? И, если это так, тогда ему всё понятно. Вид-то у него довольно посредственный. Значит, ему нужен новый костюм — конечно, не тот, в котором он ездит кутить с друзьями-карачохели по весёлым духанам да по деревянным плотам, передвигающимся по Куре. И не тот, в котором он ранним утром покупает молочный товар у деревенских мальчишек. И уж точно не тот, в котором стоит за прилавком, с фартуком поверх него, но всё равно замызганном белыми каплями парного молока или липкими пятнами от мёда...

На лице Нико появилось выражение упрямой решимости, а где-то глубоко внутри него проснулись бушующие чувства, надёжно до этого скрывавшиеся за его робким, излишне застенчивым видом. Недаром ведь говорят, что слишком сильная любовь вызывает желания, недоступные трезвому человеку, и покоряет его разум.

— Будет у меня хороший костюм и новая обувь — не хуже тех, в какие были облачены купцы и дворяне на концерте! — твердил он самому себе, засыпая в своей балахане. — А у тебя, моя божественная Маргарита, будут самые лучшие цветы мира! Могилей матери клянусь!

На другой день, дождавшись компаньона, Нико сообщил, что согласен продать ему свою лавку, то есть ту долю, которая всё ещё принадлежала ему. Удивлённый Димитри, не ожидая такого поворота дела, радостно потирал руки от выгодной сделки, глаза его сверкали от внезапно навалившегося счастья. Во всю прыть сбегал он домой — только пятки сверкали, вернулся в лавку с деньгами:

— Вот, Никала, держи, генацвале. Как договаривались. Ты смотри — не бросай деньги в воду, на ерунду не истрать!

Спустя четверть часа Нико уже нёсся что есть мочи по Головинскому проспекту. Зайдя в Дом готового платья «Венский шик», имев-

ший также собственное пошивочное ателье, он нашёл здесь знаменитого Сержа, старая мать которого, зажиточная армянка Анна-ханум, часто покупала молоко и свежий сыр в его лавке.

Серж считался лучшим портным Тифлиса, потому как Господь при рождении поцеловал его в темечко — именно так говорила Анна-ханум о единственном сыне. Он совершенствовал своё мастерство сначала в Петербурге, а потом — в Вене и туманном Лондоне и при каждом удобном случае хвастал, что пил чай с молоком за столом у самого английского короля Эдуарда VII, который считается законодателем мод. А доказательством окончания им портновских «академий» служили дипломы, висевшие здесь в рамках под стеклом. К этому первоклассному столичному портному стекалась постоянная богатая клиентура из буржуазии и верхушки тифлисской интеллигенции. Под фигуру каждого он делал манекен, чтобы шить одежду стиля модерн, не слишком утомляя клиента частыми примерками, и создавал «продукт» свой в строгом соответствии с пожеланием заказчика и по модным журналам, которые издавались в том же Петербурге, Вене и Лондоне. Имелся у него ассортимент материй как кусками, так и в образцах, в виде каталогов английских, русских и лондонских фирм. И славился он своим наметанным глазом и умением создавать все виды и типы костюмов, в том числе военные мундиры, фраки, сюртуки и смокинги.

— Шить я не буду, Серж-джан, — поторопился сообщить Нико. — Мне срочно приодеться надо. Я ждать не могу.

— Как хочешь, Никала... Желание клиента для нас — закон!

Ему показали пиджаки двубортные и однобортные: черные, синие и тёмные в светлую полоску. Из крепа, бостона, шевиота. Порекорменовали купить удлиненный и приталенный, с высоким воротником и широкими лацканами, рукава у которого покороче, с учётом, чтобы крахмальные манжеты выступали на два-три сантиметра из-под рукава. К пиджаку дали неширокие, на подтяжках брюки, жилет с лацканами, белую рубашку, тёмные носки, шляпу, скрипучие от новизны ботинки, а галс-

тук из атласа повязали широким узлом, сколов его булавкой с головкой из жемчужины.

— Выпрямите спину, любезный! Одежда не терпит сутулости. Ну вот, теперь другое дело — костюмчик ваш сидит как влитой! Головой ругаюсь! — говорил ему галантный продавец в Доме готового платья, ахая от восхищения. — Наряд этот отобьёт всех конкурентов и откроет путь в тот мир, где вас будут любить и страстно желать. Дело за малым — вам, генацвале, в парикмахерскую бы сходить ещё...

Что Нико и сделал. Побрился у лучшего цирюльника на Головинском, который за отдельную плату ещё и опрыскал его модным цветочным одеколоном «Вера-Виолет».

В конечном итоге он, наивный человек, полный надежд на счастье, свежий, прилизанный и напомаженный, одетый с иголки щёголь, и с немалыми деньгами в кармане, нанял извозчика. Лошадиное ржание, цокот копыт, и вот уже коляска стучит колёсами по мостовой, вдоль тротуаров справа и слева, держа путь на Мейдан.

Впереди его ждала новая жизнь...

Хромоногий Нукри и двенадцать его собратьев по садовому делу в холщовых фартуках, завидев платежеспособного заказчика, беспрекословно стали собирать в охапки все цветы, что были ими свезены сегодня на продажу, и грузить их на арбы: гордые розы всех оттенков крови, оранжерейные лилии, садовые гвоздики, гиацинты, камелии, астры, бегонии, пионы... Каких цветов тут только не было!

Поднялись шум и суета, мол, «какой-то чудак сегодня скупил на корню все цветы в Тифлисе! И все цветы, которые росли под Тифлисом, и все цветы, которые пришли в Тифлис на поездах из Батума...»

Недалеко от этого действия торговал один кинто по имени Сико, в чёрном ахалухе, подпоясанный тяжёлым, сплошь из серебряных чеканных накладок с чернением поясным ремнем. Шаровары у него были с напуском на мягкие полусапожки, из-под ахалуха на груди проглядывала яркая, красного цвета сорочка со стоячим воротником. С утра носил он съестное и зычно кричал: «Агурец, агурец, Александре молодец!», «Черешни, вишни испанчки!», «Яблок

антоновски», «Перчик, перчик, априкос!», «Красавица — памадор!», «Бадриджани, свежий луки, немецки слива!» Но сейчас больше, чем продать свой товар, торопился он разнести ошеломительную весть по всему городу:

— Клянусь, что земля всех садов в Тифлисе сейчас черна, — говорил он каждому встречному и поперечному, громко жуя «ляблябо» — орехи с кишмишем. — Пусть цветы никогда не вырастут на моей могиле, если остался сейчас хоть один цветок в городе!

— А что? Что случилось, Сико? Почему так? — с любопытством спрашивал подошедший к нему другой кинто, с фруктами, разложенными на подносе-«табахи», который он держал на голове. Затряслись от интереса у него на плечах весы с большими медными тарелками на цепях, которые носил он как коромысло, держа в отдельном холщовом мешочке гири разных размеров.

— Да вот этот Нико все цветы в Тифлисе купил сейчас... Миллион роз!

— Вах! Что я слышу? Какой Нико? Зачем? Почему?

— Слушай, Сико, ты его знаешь. Этот Никола держит молочную лавку на Верийском спуске.

— Пиросман, что ли? — догадался прохожий наконец. — Говорят, он и так немного чокнутым был...

— Да-да, он самый, не от мира сего. Влюбился в какую-то артистку. Француженку. Вот этими ушами всё слышал — садовники шушукались. Говорили, лавку свою продал, на все деньги цветы купил. Совсем разум потерял. Вот что любовь с человеком делает!

— Вах-вах-вах! — покачал головой Сико. — Бедный Пиросман. Чувствую я, сгорит его сердце от этой любви...

— А ещё новость знаешь?

— Что за новость?

— Говорят, жених живёт у неё в Париже.

Он по моде очень-очень рыжий.

Она зовёт его Жаком, потому что ходит он пинджаком...

Они переглянулись и оба шумно расхохотались. И смеялись бы они долго, если бы вдруг один не посмотрел на другого и не спросил с серьёзным выражением лица:

— Слушай, Сико, я тебя вчера почему весь день не видел на базаре? Где был? Что делал?

— Болел я...

— Вай ме, болел? Как? Чем?

— С разным девочкам гулял, сильно наслаждался, нехорош болезнь поймал — насморк назывался...

— Ва-а-а! А я кутил в дуканах. А потом нанял два фаэтона... Сел в передний...

— А второй для кого?

— А во втором ехал моя шапка! Он тоже человек!

— Ва-а-а!

— Клянусь честным словом!

Тем временем горы купленных цветов в больших и маленьких корзинах были уложены в нанятые повозки с впряженными в них лошадыми. А когда корзины закончились, цветы стали сваливать и без них, поверх самих корзин, перевязывая их тесьмой. Одна повозка, вторая, третья, четвёртая, пятая... Они, доверху нагруженные срезанными и обрызганными водой дарами флоры, закрипели и тронулись в путь с Мейдана, через Армянский базар, в сторону Головинского проспекта.

Позади них шёл Нико, по лицу которого не столько от яркого полуденного солнца, сколько от волнения ручьями лился пот. И кружилась его голова, пьянея и сводя с ума от приторно-сладкого благоухания цветов, над которыми, словно над цветущими лужайками, летали беззаботные стрекозы, шурша прозрачными крылышками, жужжали трудолюбивые пчёлы, порхали легкомысленные бабочки...

Вереница повозок остановилась около гостиницы «Ориант». Носильщики, сопровождавшие груз, вполголоса переговариваясь, — нельзя в этом солидном заведении шуметь! — начали суетливо снимать охапки цветов восхитительной красоты и заносить их внутрь, поднимая на второй этаж с его элегантно-интерьером, к дверям номера знаменитой актрисы. Ставили пахнущие ароматом корзины повсюду — к двери, вдоль длинного коридора, потом стали заставлять помпезную мраморную лестницу, запрудили ими парадный вход в гостиницу. Но неразгруженными оставались ещё три повозки. И тогда цветами стали усыпать

сначала широкий тротуар, а потом уже и саму мостовую Головинского проспекта. Их запах заполнил всю округу, привлекая пытливых прохожих. Швейцар гостиницы многозначительно бросал зевакам, жадно наблюдавшим удивительное зрелище:

— Большой князь... Кто именно? Не велено сообщать! Проходите-проходите, господа дорогие, не толпитесь у входа! Это вам не цирк!

Но люди не расходились, продолжая глазеть на непонятное зрелище. Шум, галдёж, громкие разговоры и возгласы удивлённых прохожих, поднимавших головы и пытавшихся разглядеть окна той загадочной счастливицы, кому предназначалось сие дорожное преподнесение, разбудили Маргариту. Она села на постели и вздохнула. Море запахов — ласковых и нежных, радостных и печальных — наполнило её комнату. Взволнованная, она быстро оделась, ещё ничего не понимая. Надела концертное платье, тяжёлые серебряные браслеты, прибрала свои роскошные волосы и, выглянув в окно, ахнула: «Oh mon Dieu!»

Отроду не видела она такого чуда! Как в сказке! Хотя и в сказках она о таком не читала. Сердце её замерло. Она догадалась, что этот праздник устроен для неё. Но кем? Кто этот таинственный незнакомец, бросивший к её ногам миллион алых роз!

Счастливая улыбка родилась на Маргаритином лице, губы смеялись, а на прелестных глазах навернулись слёзы умиления, которые она аккуратно смахнула кончиками тонких пальцев. Выглянула ещё раз в окно, под которым собралась чуть ли не половина Тифлиса с поднятыми вверх головами. Все смотрели на неё. И она — истинная артистка — начала рукоплескать публике.

— Марго! — услышала она за спиной громкий и страшно взволнованный голос сестры, ворвавшейся к ней в номер. — Ты видела это? Что за богач здесь чудит?

— Не знаю. Франсуаза. Сходи, разужай, s'il te plaut!

Через минуту сестра вернулась. И не одна. За ней в номер медленно вошли знакомый ей гостиничный портъе, неплохо изъяснявшийся по-французски, и какой-то странный, худой и бледный, но очень прилично одетый мужчи-

на, должно быть, коммерсант. Или, мерчант, как называют богатых торговцев у неё на родине. Он снял шляпу, прижав её к груди, затем пригладил поседевшие, но благоухающие модным парфюмом волосы, и застенчиво взялся рукой за стену, словно боялся упасть.

— Это он, — сказала Франсуаза по-французски. — Ты не помнишь его, Марго? Вчера он преподнёс тебе этот букет цветов. — Она указала на красные розы, стоявшие в китайской вазе на полированном столике. — Я приняла его за нарочного. А сегодня — вот! — всё, что ты видишь — дело его рук!

— Oh là là! — вырвалось из уст артистки. Она, очаровательно улыбнувшись, протянула ему руку для поцелуя. А Нико стоял как громом поражённый, — наверное, его компаньон Димитри был прав, когда называл его так! Сейчас он впервые услышал, как этот прелестный голос, такой знакомый, обращается к нему, впервые увидел, как идол, которому он поклонялся, сходит с пьедестала и хотя мгновение, но живёт и улыбается лишь ему одному. Он, художник, заметил, как свет рампы меняет черты знакомого лица! И она, мадемуазель Маргарита в жизни оказалась ещё прелестнее, чем на сцене! Не сразу Нико сообразил — ему подсказал портъе, что к протянутой руке в таких случаях положено прикоснуться губами. Что Нико и сделал, ощутив в этот миг, что кожа её нежной ручки обожгла его огнём.

— Quel est son nom?! — полюбопытствовала Маргарита с неподдельным интересом.

— Николя, — сухо сообщила Франсуаза.

— Merci, monsieur, — выговорила Маргарита, ласково глядя ему в глаза. — Merci beaucoup, Nicolas! Но... но... затчем столько тсветки? Мой голова будет ломатса от боль. И вы тра-титть много деньги... очень много...

Нико молчал. Только тихо смотрел на её ангельское лицо, чуть дыша.

— Он не есть мерчант, Марго. И тем более не князь! — хладнокровно вставила Франсуаза на своём языке. — Простой мелкий лавочник. Ничего не имеет за душой. Странноватый чудак из Тифлиса. Попрошайся уже с ним. С минуты на минуту подъедет экипаж. Саквояжи я уже упаковала. Ты готова?

Она всё поняла! Он полюбил её, заезжую ар-

тистку с берегов Сены. Капризную, избалованную примадонну маленького театришка. Влюбился так, как безусый юнец может влюбиться в девушку с первого взгляда. И, сам веря в сказку, подарил её ей, искренне надеясь, что она покажет ей силу его большой — необъятной! — любви.

Но ведь она совсем не знает его. И поэтому не может ответить на его чувства взаимностью, а только... только жалеет этого мечтательного романтика и идеалиста. Ему бы с его сентиментальной душой не лавочником быть, а поэтом... или художником...

Санта-Мария! Неужели она, сама того не желая, разбила его сердце? Тогда ей надо покаяться! Хотя в чём состоит её вина перед ним? В чём ей каяться и укорять себя? За что терзаться муками совести? Маргарита вздохнула и вспомнила: «C'est la vie!» — «Такова жизнь!» — так любила поговаривать её бедная матушка, когда ничего нельзя было изменить и оставалось принимать жизнь такой, какая она есть.

На башне городской думы часы проббили двенадцать раз. Полдень. Снизу был слышен приближающийся стук колёс. Высокий экипаж, запряжённый парой лошадей, подкатил к парадному входу гостиницы и замер в ожидании пассажиров. Кучер спрыгнул с подножки на тротуар, учтиво приподнял фуражку и распахнул дверцу.

Пора! Слуги стали выносить их вещи и грузить сзади, в отделение для багажа — два приличных, затянутых ремнями дорожных сакvoja, туго набитых чем-то. И большой деревянный сундук, который грузчики несли с двух сторон за обе ручки.

Маргарита, опираясь рукой на согнутую в локте руку Нико, стала спускаться вниз по лестнице, вслед за вещами. Их сопровождала бесстрастная Франсуаза, а за ними следовал портё. Он нёс в руке корзину с удивительно нежными алыми розами. Всего лишь одну корзину! Потому что увезти с собой целое море цветов не под силу никому, даже всесильному чародею!

Казалось, что-то необъяснимое удерживало её, и она не желала торопиться, не хотела отрываться от Нико своей руки. А чем он, герой её сегодняшнего романа, отличается от кудесни-

ка? Ровным счётом ничем. И достоин большего, чем просто быть взятым под руку! И она, слегка приподнявшись на цыпочки, вдруг чмокнула его в щеку. Жар красным пятном растёкся по его лицу...

Франсуаза, увидев эту картину, решила проявить твёрдость и подтолкнула сестру к дверце — устраивайся поудобнее! Та, вздохнув, решительно ступила на лесенку, под свод экипажа.

— Adieu, mon ami! — не сказала, а почти крикнула ему Маргарита, а потом произнесла ещё что-то, что тут же было переведено услужливым портё на грузинский язык:

— В сотый раз, Николая, примите мою благодарность... Я тронута безмерно. И, поверьте мне, сохранию о вас самые приятные воспоминания... Может быть, mon ami, если будет воля провидения, мы когда-нибудь увидимся... — говоря о провидении, она показала указательным пальцем вверх, имея в виду, что великая и необъяснимая сила судьбы выше всего земного и обитает где-то высоко над головой, в синем небе.

Дверца экипажа захлопнулась за женщиной. *Von voyage!* Почти тотчас раздался стук в переднюю стенку, который дал кучеру знать, что пора трогать. Подобно эху от пистолетного выстрела щёлкнул его кнут, и экипаж затрясся по мостовой, подпрыгивая по булыжнику идеально прямого, совершенно европейского проспекта.

Нико не отводил глаз от быстро удалявшейся от него Маргариты. И не мог не заметить, как она дрожащей рукой посылает ему прощальный жест из окна. По его растерянному лицу потекли горькие слёзы. Он пристально всматривался в маленькую точку исчезающего экипажа, точно хотел сорвать её с горизонта. И не мог, не хотел поверить, что его «ангела» больше нет рядом с ним.

Как во сне вернулся он в гостиницу и поднялся на второй этаж, прошествовал по коридору и вошёл в знакомый номер. Никого! Окна закрыты наглухо, шторы задвинуты, по комнате разбросаны этикетки от шампанского, визитные карточки поклонников и обрывки некогда нарядных афиш. И больше никого и ничего, кроме фамиама знакомых духов, смешанного с запахом женщины, которую он так нежно полюбил.

Он подошёл к широкой неубранной постели, бережно и с глубоким благоговением взял в руки её подушку и прижал её к себе, блаженно закрыв глаза и поглубже вдыхая еле уловимый аромат дорогих благовоний. Уехала! Покинула его навсегда! Опустошила его душу и похитила сердце!

Он спустился вниз. Дул ветер. Ветер разлуки. Закончилась волшебная сказка. Но какой в ней толк, если золото в итоге превратилось в черепки, Красавица уехала на край земли, где говорят на непонятном ему языке, а он — чудовище — остался. Недобрая вышла сказка, печальная, без весёлого пира, без счастливой свадьбы! А может, всё это сон?

Нет! Это было явью! Свидетельством тому была площадь перед гостиницей, затопленная солёным морем из цветов и слёз.

Цветы... цветы надежды... цветы жизни... цветы любви... Ещё сегодня утром он был уверен, что они приносят счастье, но, увлечённо вдохнув благоухание их прелестных лепестков, он потерял голову и сохранил очарование их навязчивого запаха: лицо его теперь омрачено боязнью, а душа, она охвачена вихрем, поднимающимся из тех туманных бездн мысли, где вулкан гордости тлеет под пеплом бесилия и неудач.

— Всё правильно! — рассуждал он, силясь найти оправдание своей несложившейся судьбе. — Я ей не ровня. Она — звезда, знаменитость и красавица. А я — обыкновенный лавочник. Хотя... уже даже и не лавочник, потому что нет больше лавки. Нищий! Ни кола ни двора!

Мысли... мысли... они не давали Нико покоя. И, если бы рядом с ним в этот момент оказался человек образованный, уж он-то бы смог раскрыть ему глаза на очевидное. Он бы сказал ему, что для таких мечтательных натур, как Нико Пиросмани, нет ничего опаснее, чем любовь к актрисе.

Нико тихо побрёл по Тифлису, спускался к воде, смотрел, как мели в середине реки отшибают Куру к берегам, с её тенистыми зелёными садами. Здесь летом бывает прохладно до холода... Заглянул в ботанический сад, где смотрел на водопад под мостом, на весеннюю сосновую рощу... Стал взбираться на Святую гору, где, подняв купола, стоит церковь с це-

лебным источником. Мимо неё медленно, как дворник с вязанкой дров по чёрной лестнице, полз на самую верхушку горы маленький вагончик фуникулера.

Забывтый всеми, без роду и племени, Нико уныло повернул вспять, в Сололаки. Здесь, в подвалах, входы духанов. Оттуда слышна негромкая песня. Он спустился. Горело жёлтым светом электричество. За столами сидели нарядные люди, пели, произносили красноречивые тосты о сердце, о вечной дружбе, о любви... И пили из рога. Попросил у буфетчика графинчик водки... в обмен на свою жилетку с лацканами. Следующий графин Нико выменял на ненужный ему атласный галстук — и в придачу отдал венскую булавку с головкой из жемчужины.

Сердце его больше не стучало... оно сгорело от большой любви — той, что не сможет поместиться ни в этом духане, ни в переулке, ни во всём Тифлисе!

Шло время. Подул ветер, и пошёл дождь.

Он слушал его бесконечный плач, смешанный с протяжной песней сазандари, и с удивлением обнаружил, что грустная эта песня, похожая на стон, затянута зурной и дудуки специально для него, Нико Пиросмани:

*Пусть ангелы поют,  
Как безобразен я.  
Всю боль возьму твою  
Себе, душа моя...*

Почти весь Тифлис уже знал о том, что случилось с Нико Пиросмани. Все были потрясены, жалели его, сошедшего с ума по той, что украла его сердце. Все, кроме двух бесшабашных кинто, которые, как обычно, дурачились, напевая под нос:

*Он чудака, она — шарман.  
Не сложился их роман...*

# Неношеное платье

рассказ



Время от времени старуха покашливала, и влажная мокрота протяжно хрипела у неё в бронхах, превращаясь в сладковатый слизистый комочек во рту. Она сидела в чёрной косынке перед гробом мужа и неотрывно теребила в руках носовой платок, часто поднося его к лицу и протирая уголком то глаза, то подрагивающие кончики губ, которые, казалось, вот-вот коснутся выпирающего подбородка. А порой медленно покачивалась в такт негромким, певучим причитаниям: «Ваня, милый ты мой, кровинушка! На кого ж ты меня покинул?! За что наказал? Теперь одна... Как же жить-то теперь?», и тогда солёные слёзы разъедали ей лицо, а мысли о трагической смерти мужа душили мучительно больно...

Чин отпевания подошёл к концу, но хромоногий дьячок в белой обожжённой рясе не ушёл: уселся себе в дальнем углу, отложил в сторонку дымящееся кадило и тихим однообразным голосом читал псалтырь. Дверь, как положено в таких случаях, была нараспашку, и народ всё шёл и шёл: как-никак, а село у них большое. Одна толпа сменяла другую: одни шли, чтоб отдать последний поклон гробу, другие, чтобы поглазеть, как покоится в нём Иван. Крепкий мужчина, облачённый в новый тёмный пиджак, лежал, накрытый белой простынёй, с ликом Спасителя на груди, безвольно зажав погребальный крест в восковых руках. Слабый мерцающий огонёк свечи бросал косые лучи на его заострившийся нос и загорелый морщинистый лоб с насупленными бровями: он словно сердился на тех, кто уложил его в эту окропленную святой водой хо-

лодную некрашеную домовину, сколоченную из свежеструганных сосновых досок.

Сельские бабы, только ступив в дом, принимались голосить с самого порога. Мужики же, которым ничего уже вроде не страшно, потому как они всякое повидали, поначалу копошились в сенях, топали валенками, сбивая с них снег, затем украдкой заглядывали в горницу, где проходило прощание, жались по углам, больше удивлённые и испуганные, чем огорчённые. Входили бочком и, бросая несмелые взгляды на Ивана, торопливо скидывали шапки, крестились на иконы, обкладывали гроб мокрым, колючим еловым лапником и, оборачиваясь, сочувствие вдове выражали. Бабы рассаживались на лавках, что стояли полукругом перед гробом, пускали слезу, а потом удручённо мотали головами в косыночках и о чём-то шептались меж собой. Кто-то из них обронил, что, мол, рановато Иван отдал Богу душу, дюжий был мужик, мог бы ещё жить да жить. Вдова не повернула головы: всё шевелила губами немые причитания да теребила платок.

Глядь, в дом бежал полоумный Васька-заморыш, ногами к гробу засеменял и раз — что-то сунул в ноги покойному.

— Эй, Васька, ты чё учудил, дуралей? — хмуро спросил сосед, наклонившись и дохнув табачищем с лёгким перегаром, когда тот припустился рядом.

— Да Васька чё? Васька всё село обежал, нигде цветов нету. Непогодица. Все Ваську журят, а Васька Ивану — шоколадку...

В какой-то момент вдове показалось, что покойник тяжело вздохнул, и от неожиданности она вздрогнула всем телом, едва не лишившись чувств. Зашлась родимая затычным кашлем, закрыв рот рукавом и так давась горлом, будто её рвало.

— Худо мне, Клава, — произнесла она, едва успокоившись.

— Дак это с непривычки, Люда, — закивала соседка, махнув рукой. — Уж на что я привычная — ведь мужа, брата и сына схоронить успела — и то... Вот я тебе ща водицы подам, даст Бог, полегчает. Изморилась ты, два дня не пимши, не емши, кишка кишке, поди, кукиш кажет. И глаза все вконец выплакала, горемычная... Ты того, ступай, поешь малость, а мне идти надоть, скотинка некормленная ждёт.

Права была Клавдия — Люда с головой ушла в своё горе. Как прознала про мужа, так ноги и подкосились, опустилась на пол и забилась, завывала как собака. Клавка, которая прибежала на этот вой, смотрела на неё и, поди, думала, что Людка сошла с ума. Она не смыкала глаз вторые сутки кряду: пока покойник в доме, надобно держать всюнощную. Иван работал дежурным электромонтёром, спешил по вызову устранять всякие неполадки. Всё твердил, что без электрика в жизни — ни туды и ни сюды. Электрик, он ведь всё может: захочет — свет зажжёт, захочет — погасит, короткое замыкание может удлинить, а длинное — укоротить. Выходит, без электрика миру хана придёт. А тут током его и убило, пока был на халтурке у Валентины. У той завсегда что-нибудь не так, как у людей. Живёт, говорят, одна, без детей, без мужа. Дом старый, от бабки остался. В нём то уют заискрит, то розетка в стене задымится, то пробки к чертям вылетят, а то и проводка дотла сторит. Вот Иван по доброте душевной и пособляет ей. А в этот раз Валькин телевизор чинить полез, безбашенный, так его на месте как шандарахнуло. Насмерть! В морге сказали, что под градусом был да лыка не вязал и умер без мучений — моргнуть не успел.

На приличные похороны денег не хватало. Но сельчане выручили, всячески пособляли Люде устроить мужу подобающее прощание, да такое, чтоб никто не осудил. И что б она делала без этих добрых людей? Бабы суетились на славу, прибирая в доме. Засучив рукава и попутно вытирая сопли, драили с мылом полы, окна и двери, вытирали от пыли образа, завешивали сервант да зеркала. Лавочек вот натаскали — собирали с миру по нитке. Да ведь всё ж надо было сделать одним пыхом, пока в доме не было тела усопшего: все хорошо помнили, что сор при покойнике вынести — всех из дому вынести. А мужики вот с машиной помогли, доставили Ивана из больничного морга, за гробом съездили, недорогоим, правда, но очень добротным, священника местного пригласили. Свечи для погоста прикупили, лампадку разожгли, чтобы душа его, покинув тело, не испугалась темноты, а свет пламени её успокоил.

Стыд да срам, что родной сын приехать не смог — дела у него да заботы. Говорит, Москва слезам не верит, тут в оба глядеть надо, иначе изнища-

ешь враз! Всё у него шито-крыто: с кем живёт и как, что ест и пьёт, где ляжку тянет — ничего ей толком неизвестно. Безалаберный, даже внука ей с Иваном не подарил. Господи! Образумь ты его! Вернулся бы в село. Нашёл бы себе девку здоровую, работающую. Детишек бы на свет Божий нарожали. Жили бы как люди... Хорошо хоть депешу прислал, короткую, в три слова: «соболезную похорони оплачу»...

На освободившееся Клавкино место тихонько подседа Алевтина. Обняла, руку сжала и что-то шепнула на ухо, да только Люда не разобрала слов, сидела с каменным лицом. А та опять за своё, что-то ей там про Ивана на тихой ноте бубнит. Люда и прислушалась глухо, хоть и не повернула головы.

— Не убивайся ты так, подруга, — услышала она. — Не стоит он того! всю жизнь гулял от тебя, блудливый... Ни одну юбку мимо не пропускал. Вот те крест святой, не вру. Чего глядишь? Да неужто не ведала? А год назад с Валькой снюхался. Вальку-то Раскладушку всё знают. Охмутила она его. В тот день твой квасил у неё вовсю — дым коромыслом стоял. Я ведь там близёхонько, по соседству. Напились до поросячьего визгу. Ванька твой орать стал, что изменяет ему Валька. Да оно, похоже, так и было. Валька ведь баба видная: краснощёкая, стройная, грудастая, наряжаться умеет. Вон воротилась из города — накувыркалась там, поди, с лихвой. Рыжие патлы свои распустила, напмадилась, хоть стой — хоть падай, огляделась, приметилась себе мужика крепкого, работающего, раз в гости позвала — по хозяйству подсобить, другой, третий, да и увела. Да чтоб мне сквозь землю провалиться, коль наговариваю! Хоть и ведаю, что негоже поминать покойного дурным словом — душа его на том свете умается, но как по мне, коли чего не так, то и молчать не стану, правду-матку всю выложу, как на ладонке...

Люда замерла, чувствуя, как бешено застучало её сердце и кровь ударила в лицо. Руки её задрожали, тело обмякло, а всё перед глазами, как в сильный ливень, поплыло. Верно в народе говорят: жена об изменах мужа узнает в последнюю очередь. Всё внутри взбунтовалось, вскипело... Получается, все знали! Да молчали, грех Ванькин покрывали...

— Будь на твоём месте, — продолжала Алевти-

на, — извела бы её на корню, змею подколодную, тварь поганую, зелья бы подсыпала или порчу навела. К слову сказать, я тут вот что вчерась надумала: покласть бы в Иванову домовину вещицу её какую — трусики разноцветные али лифчик — всякий раз на бельевой верёвке качаются туды-сюды, мужиков закликают. Покласть — и всего-то делов. Ахнуть не успеешь — вслед за твоим покандекает...

За окнами густыми хлопьями валил снег и, едва долетев до земли, начинал таять, превращая её в месиво из грязи и воды. Был слышен лай собак вдалеке и скрип сверчка где-то в углу. Погребальная свеча медленно догорала, сероватый воск таял, стекая на дощатый пол, а его запах смешивался с ароматом ладана, дымок рваными волокнами нависал над собравшимися вокруг гроба усопшего...

Зловещую тишину в горнице нарушило лёгкое шуршание ткани: упало покрывало с зеркала, обнажив леденящую душу картину. Что это — явь или сон? В горнице гроб стоит, входят и толпятся мужики и бабы, несут на валенках грязный снег, хлопчут, утешают и кручинятся. Но за спиной её судачат да языки чешут, думая, что она этого не видит. Видит!

Знали все! И молчали. А теперь шастанут туда-сюда, козы бодатые, лишь бы кости Ванькины перемыть, и, может статься, кое-кто в душе даже радуется беде её.

Темнота внутри зеркала кое-где рассеивалась дрожащим огоньком лампадки, пытаясь заполнить звенящую пустоту отчаянья и злости, пробиравшую Люду до самого сердца...

Ясно представила, как Валька хитростью заманила Ивана, поила его холодной брагой стакан за стаканом, а потом, растрепанная, шальная, в сползшей с плеча кофте, устроилась подле него, телка захмелевшего, стала будить-тормозить пунцовыми губками: «Да не спи ты, соколик! Полюби меня сильно...» Иван, дурья башка, что-то мычал со сна, отталкивал её, а Валька кофточку скинула и сечки свои напоказ — остренькие, как у козочки, в разные стороны глядящие тугими сосками...

Вздохнула Люда прерывисто да на мужа глянула — лежит, не шевелится, непутёвый. Вздрогнула, вспомнив про его частые отлучки: охоту на

три дня и ночи, рыбалку, а то и «халтурку» на стороне, когда неделями ждала — не могла дожидаться. А возвращался домой пьяным, взгляд мутный — и не пикни, чуть что, вставал на дыбы, посылал крепко в тмутаракань, так то и ладно, а то мог ведь и промеж глаз. Ох, и слепая ж была! Дура!

Лицо её исказила судорога, глаза закатились, а грудь порывисто заколыхалась от кашля. И сызнова отдалась во власть воспоминаний, и замелькали перед ней картины прошлого, которые она в обычной жизни старалась не ворошить. Вот здесь ей восемнадцать годков. Хороша! Приударила за ней Иван, гармонист чубастый, первый парень на селе, девок щелчком пальца подзывал! Всё твердил: «Гуляй ты, Людка, пока молода да красива. Другие ж девки гуляют. Чего тебе-то пороженем ходить? Неужто хуже других?» А как-то балясами заморочил, затащил на сеновал, подалше от людских глаз, где сладко пахли недавно скошенные травы. Тьма там стояла — глаз выколи, только слабо светились щели в полу да кое-где сквозь дырявую кровлю пятнышки лунного света пробивались. Не обхаживал, не задабривал, не упрасивал. Огляделся вокруг, сплюнул, взял сзади за груди. Сдавил жадно, до боли. Кинул на ворох сухой травы. Прижал собой в темноте, целовал лебединую шею, ласкал, рукой под белый сарафан забрался. Уступила она. Одна только мысль вертелась: скорей бы только всё кончилось. А он потом всю жизнь попрекал да и унижал, что нечестной за него пошла, не блюла себя, как положено, отдалась до свадьбы...

До того жадным оказался — всяку копейку считал, ничем не делился, а даст кому рубль, так потом два требует. Да и жуть какой ревнучий был! Не позволил ей работу продолжить в больничке местной, где фельдшером трудилась, даром, что ли, техникум медицинский окончила. И с любым она общий язык найти умела — с малым и старым. Многие на селе одиноки были, приходили к ней душу изливать, им легче становилось — а у неё радость на сердце! Уважали её там, другим в пример ставили, подработку частную подсовывали. А она и не отказывалась: кому укольчик поставить, кому массажика лечебного от радикулита, а кому и давлению смерить да сбор травяной подсказать. А Иван всё допытывал: где была, куда пошла? — Куда-куда? На Кудыкины горы продавать помидоры. Раз как-то вздумала

ерепениться, так люто разгневался и раз — наотмашь по щеке! А рука тяжеленная, ладонь лопатой. Промочила горькими слезами подушку, синяки хвойными примочками залечила, да и поправилась потихоньку: не ты одна — все так живут.

Стала по хозяйству ишачить, свету белого не видала. А хозяйство-то большое, знай поворачивайся. Пока дела бабские сделаешь, денёк и прошёл. В огороде раком над картошкой стояла, за скотинкой ходила. А сбудешь её на базаре — радость мужу да убажнение. Тут ещё и сынок родился — дитячко малое догляда требует. Любила его, души в нём не чаяла, баловала как могла. А он вырос — и тю-тю в город, будто там мёдом помазано. Вот и не заметила, как сама переменялась с возрастом, на всю округу озлобилась, очерствела. Верно в народе говорят, не уйти от судьбинуски своей — отыщет тебя повсюду и приведет туда, куда ей надобно.

Враз спохватилась: ой, батюшки, да хватит ли всем водки на поминках? Надо предостеречь, чтоб много не наливали. По три рюмки — и будет с них. Тут такие — им только подноси глаза заливать... И мясного не дождутся — постные дни пошли. Кутьёй обойдутся. Ишь, губу раскатали на буддыжку. А сами-то, сами чего? Глаза Люды, холодные и бесчувственные, стали зорко следить за руками односельчан, подчас сующими деньги в карман её шерстяной жакетки. Она уже жалела, что не поставила на табурет с погребальной свечой поднос для благотворений: на нём сразу видно, кто сколько дал. А тут — сиди себе да и гадай, кто поскупился.

Выносили Ивана головой вперёд, да бережно — не приведи Господь задеть о дверной косяк. Зашлёпали по рытвинам, по грязи, по неровным да скользким дорогам — мимо полинялых, давно не крашенных деревянных домов, крытых дранкой, покосившихся курятников да свинарников, заросших репейником, сквозь лай собак, ржание лошадей, кислый запах навоза, сена и талого снега. Ветер мягко в спины толкал, словно гнал — лишь ноги переставляй. Как взбирались на пригорок, откуда всё село как на ладони, так чуть не уронили Ивана: припал на колено первый несущий, но остальные сдюжили. Так и пришли на заснеженный погост, где вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой холмов. За последним — зловещим прямоуголь-

ником чернела у ног свежевырытая могила, чернела и терпеливо ждала, готовая поглотить новое тело. Вокруг ямы — слякоть, глина вязкая: народ копошился, спотыкаясь на мокрых комьях взрытой земли, все валенки себе извазюкал.

Добродушный дьячок кропил покойного святой водицей, отпуская ему земные грехи: «Со Святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Ивана, где нет болезни, скорбей и страданий, но жизни вечно блаженная». Сельчане держали горящие свечи и по очереди крест батюшки целовали, чтоб всё худое из них повылазило. Бледное лицо Люды наблюдало за происходящим пустым, отрешённым взглядом. Соседушки с двух сторон шептали ей, приказывая плакать и причитать, но Люда будто не слышала. Она полностью ушла в себя. Очнувшись, когда кто-то сильно подтолкнул в спину: надо прощаться с благоверным. Подошла и... отпрянула — совсем не похож на себя Иван. Лицо спокойное, восковое. Снег на него падает и не тает. До самых костей, должно быть, заледенел. Лежит себе мирно, руки сложив. А ведь всю жизнь на ногах был, покоя не знал. Наклонилась, поцеловала венчик на лбу, не касаясь губами. Да так и осталась стоять. Выждав для приличия маленько и не увидев больше желающих проститься с умершим, два здоровенных бугая, отбросив окурки, заколотили крышку гвоздями и торопливо опустили Ивана в могилу, головой на восток, ловко выдернув из-под ящика облезлые верёвки. С каменным лицом бросила Люда три горсти земли на крышку гроба. Мужики стали быстро орудовать лопатами, закидывая яму землёй. В ногах крест православный поставили, восьмиконечный, украсили свежий холмик еловыми ветками да небольшим букетиком подснежников, ещё влажных, с упругими стеблями, хранящими тепло чьих-то рук. «Земля, природы мать, — её же и могила: что породила, то и схоронила», — задумчиво изрёк полоумный Васька.

На поминки в столовую пришли всем селом — чтоб Ивана помянуть, самим поесть-попить да вспомнить собственных покойников. За длинным столом подавали пироги, солёную рыбу, овощи, фрукты, конфеты и печенье. В центре красовались румяные блины и кутья с изюмом да густой патокой, с них и начали тра-

пезу, не забыв помолиться за покойного и поставить ему полную рюмочку с хлебом. Пили и ели много — да всё ложкой, курили, тягомотину разводили. После трёх стопок фестивалить стали: шутки травить с прибаутками, старухи дурными голосами песнь затянули. Пили за Людку-вдову стоя, за их с Иваном сынушку, что не доехал до батьки, за жизнь, за друзей и соседей, за здоровье, кажись, даже за Сталина. Пить-то сильно хотелось, а без тоста не принято. Наконец разбрелись по домам, видать, доктора тутошнего постыдились, Алексея Пальча, невысокого, голубоглазого мужчины с жесткими щетинистыми волосами, такими светлыми, что они были светлее его лица. Когда-то они с Людой работали бок о бок: он — врачом, она — фельдшером. Оба были молоды, вели на дежурстве умные разговоры, нравился он ей тем, что ни на маковое зёрнышко похож не был на других парней — дюже культурный, добрый... Душа-человек. А потом... потом она пошла замуж за Ивана, забрюхатела, и всё рухнуло. Дальше был сон. Самый кошмарный и самый длинный сон в её жизни. Он длился многие дни, недели, месяцы, годы... А Алексей вскорости уехал то ли в Сибирь, то ли на Дальний Восток. И вот, оказывается, вернулся лишь немногим более месяца назад. Бабы на селе чирикают, что вдовец он теперича. Завидев его на поминках, Люда удивилась до безумия. А как глянула в глаза да взгляды их встретились, он и покраснел, как юноша, да так, что лицо его белоснежное багровыми пятнами и покрылось. А она испуганно вдохнула воздух и почувствовала, как всколыхнулось в ней что-то, как ожило прежнее чувство, которое вроде бы давно умерло, но было ещё живо. И сердце её гулко забилося.

Придя во хмелю в одинокий дом, Люда первым делом выгребла из кармана деньги, дважды пересчитала — не густо, не окупилась похороны, но, как говорится, и на том спасибо. Спрятала наличность в нижний ящик комода, встала, и тут взгляд её упал на зеркало. Перед ней стояла поседевшая хмурая женщина с лицом, скрытым тенью вдовьего платка и по-зимнему быстро надвинувшихся сумерек. Точно старуха! Вся жизнь её серая да бестолковая перед глазами пролетела, да и потухла вмиг, словно и не было её вовсе.

Неспешно стянув с головы платок, она распустила волосы и долго их расчёсывала. Потом вдруг кинулась к широкому, окованному железными полосами сундуку со всяким тряпьем, отворила его, громко звякнув навесным замком. На глаза попались заплесневелые и поеденные молью, оставшиеся от свадьбы рубашки-длиннорукавки с вышивкой, рушники из беленого льна, отделанные красным шёлком и вышитые золотой нитью, пояса тканые с узлами в бахроме. Обилие красного, цвета жизни и плодородия, взбодрило ее, взбудоражило. Засунув руку под свекровину пряжу, полотнички-салфеточки, старую скатерть, расшитую гарусом, Люда нащупала на самом дне свёрток. В нём было платье цвета спелого персика — давненько сынок из Москвы привозил, да всё негде было носить. Обидно. Берегла его на счастливый день, да не случилось такого. Знать бы, будет ли впору или к портнихе нести придётся? Здесь же лежали аккуратно под стать платью бусы с крупными бусинами и туфли с каблукком — обзавелась ими, когда техникум окончила. Про них-то она и напрочь забыла! А нынче чудо как возрадовалась, так радуются при встрече со старыми знакомыми, с которыми с давних пор не виделись и от которых думают услышать что-то новое и путное.

Напялила платье, влезла ногами в туфли. Попробовала окинуть себя взглядом со стороны и не-

вольно залюбовалась: до того ладная да фигуристая бабёнка. Наряд придавал её бледным чертам смелости, вдохнул в неё жизни. Распушенные волосы легкомысленно с плеч спадали, да и ноги, пусть и натруженные, с мозолями, оказались всё ещё ровнёхонькие да стройные.

«И совсем ещё не старуха! — вырвалось из груди. — Полтинник внедавне разменяла, а ничего. Всю жизнь пахала, ломала хребтину как лошадь, так ужель себе право на счастье не заработала?»

Сказала, и лёгкий испуг пробежал по её телу...

Покойный Иван слов сих бесстыжих не слышал, да и нарядов не видал. Он спал, крепко скрестив руки, глубоко под окоченелой землей, в тиши и покое. А жена его, Людка, осталась наверху, в заснеженном холодном мире. Да только, поди, недолго осталось ей тепла ждать: февраль уж в дорогу сбирался, и чувствовалось робкое, едва уловимое дыхание весны. Оно дурманило воздух и всё живое на земле, поднимало соки в деревьях, чьи почки сбрасывали оковы льда, и несло с собой пьянящее ожидание перемен.

□

### **Валериан Владимирович МАРКАРОВ**

*родился в 1967 году в Грузии.*

*Окончил факультет истории Тбилисского университета, изучал бизнес и менеджмент в США и Израиле.*

*Колумнист, писатель.*

*Публикуется в России, Грузии, Армении, Германии, Италии, Греции, США, Канаде и других странах.*

*Автор семи книг.*

*Лауреат Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», премий им. А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя (Россия), М. Твена (США), Г. Бёлля, Де Ришелье,*

*«Лучшая книга года» (Германия), победитель премии «ДИАС», обладатель «Золотого Пера Руси» в номинации «Историческое наследие», финалист премий «На Благо Мира — 2019», «Большой Финал» и др.*

*Руководитель Международного творческого Союза современных литераторов «Парнас».*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

